

Памяти памяти. Романс

Автор:

Мария Степанова

Памяти памяти. Романс

Мария Михайловна Степанова

Новая книга Марии Степановой – попытка написать историю собственной семьи, мгновенно приходящая к вопросу о самой возможности сохранять память о прошлом, разбор семейного архива, обращающийся взглядом способов жизни прошлого в настоящем, и история главных событий XX века, как она может существовать в личной памяти современного человека. Люди и их следы исчезают, вещи лишаются своего предназначения, а свидетельства говорят на мертвых языках – описывая и отбрасывая различных посредников между собой и большой историей, автор «Памяти памяти» остается и оставляет нас один на один с нашим прошлым.

2-е издание, исправленное

Мария Степанова

Памяти памяти

© Новое издательство, 2018

978-5 98379-217-3

2-е издание, исправленное

Часть первая

Что толку в книжке, – подумала Алиса, – если в ней нет ни картинок, ни разговоров?

Кэрролл

Бабушка сказала:

– Видно, возраст сейчас другой у него. Пей с живыми, залейся, но не пей с мертвыми.

Я не понял.

– Как можно с мертвыми? – я не понимаю.

– Еще как можно, – сказала бабушка. – В основном-то с мертвыми ведь и пьют. Не пей, ты. Выпьешь рюмку – пройдет сто лет. Выпьешь вторую – пройдет еще сто. Выпьешь третью – и еще. Выйдешь на улицу, а уж триста лет – нет. Никто не узнает, не то время.

Я думал – пугают; ребенка.

Соснора

Какой ужас! – сказали дамы, – что же вы тут нашли удивительного.

Пушкин

Глава первая, чужой дневник

Умерла моя тетья, папина сестра, было ей немногим за восемьдесят. Мы не были близки, и за этим тянулся длинный хвост семейных разночтений и обид; мои мама и папа были с ней, что называется, в сложных отношениях, виделись мы нечасто, и между нами почти ничего своего не выросло. Время от времени мы перезванивались, виделись и еще реже, и с годами, отключая телефон («Не хочу никого слышать!»), она все дальше уходила в собственноручно выстроенную раму: в толщу вещей и вещиц, которыми была заставлена ее маленькая квартира.

Тетья Галя жила мечтой о красоте: о решающей и окончательной перестановке предметов, окраске стен, вывешивании штор. Когда-то, годы назад, она взялась за генеральную уборку, и та постепенно захватила дом. Шел постоянный процесс перетряхивания и пересмотра; содержимое квартиры необходимо было разобрать и систематизировать, каждая чашка требовала раздумья, книги и бумаги переставали быть собой и становились просто узурпаторами объема: стопками и грудками, баррикадой перекрывавшими квартиру. Комнат было две; по мере того как предметы завоевывали пространство, Галка перебиралась из одной в другую, захватив с собой самое необходимое. Но и там начинался процесс разборки и переоценки; дом жил, вывалив наружу собственное нутро и не умея втянуть его обратно. Важного и неважного уже не осталось; значимым так или иначе было все – и особенно желтоватые газеты, собранные за десятилетия, высокие колонны вырезок, подпиравшие стены и кровать. Место для хозяйки находилось теперь лишь на продавленном диванчике, там мы и сидели вдвоем среди взбесившегося моря открыток и тележурналов в тот раз, который я особенно помню. Она пыталась меня накормить какими-то кабачками, впихнуть в меня драгоценные, припасенные для гостей, шоколадки, я постыдно отнекивалась. Верхняя, ближняя вырезка была «Какая икона необходима вашему знаку Зодиака», название газеты и дата публикации были аккуратно надписаны сверху, идеальным почерком, синими чернилами по неживой бумаге.

* * *

Мы приехали где-то через час после того, как позвонила сиделка. На лестнице была полутьма, и казалось, что она жужжит: на ступеньках и лестничной площадке стояли и сидели незнакомые люди, которые уже каким-то образом узнали о смерти и слетелись сюда первыми – предлагать свои ритуальные

услуги, помощь с документами, отнесем-заверим-разберемся. Кто дал им знать, милиция, врачи? Один из них прошел с нами в комнату и стоял там, не снимая куртки.

Тетя Галя умерла под вечер 8 марта, в советский праздник мимоз и открыточных утят, – один из табельных дней, когда в нашей семье было принято собираться вместе, раскладывался широкий гостиный стол, газировка лилась в темные, рубинового стекла, бокалы, присутствовали четыре неперменных салата, морковный с орехами, свекольный с чесноком, сырнй – и великий уравниатель оливье. Этого всего не случалось с нами уже лет тридцать, оно кончилось задолго до того, как мои родители уехали жить в Германию, Галка гневно осталась, а в газетах стали печатать волнующие вещи: гороскопы, рецепты, новости домашней медицины.

Ей очень не хотелось в больницу, и было отчего. В больнице умерли ее родители, мои дедушка с бабушкой, и собственный опыт казенной медицины у моей тети тоже был. И тем не менее дело шло к тому, чтобы вызвать «скорую»; этим бы и кончилось, если бы не праздничные дни, решили подождать до рабочего понедельника – и так у Галки появилась возможность повернуться на бок и умереть во сне. В соседней комнате, где жила сиделка, в шахматном порядке висели фотографии и рисунки моего отца, много, по всей ширине стены; ближе всего к дверям – черно-белая картинка, снятая им в шестидесятых, из моей любимой серии про ветеринарную клинику. Это очень хорошая фотография: сидят у стенки и ждут врача собака и хозяин, хмурый мальчик лет четырнадцати и пес-боксер, приткнувшийся к нему плечом.

* * *

Квартира теперь стояла оторопевшая, съезжившаяся, полная внезапно девальвировавшихся вещей. По углам большой комнаты молчали сухие остовы телевизоров. Огромный новый холодильник был впрок набит ледяною цветной капустой и замороженными буханками хлеба («Мишенька любит хлеб, купи побольше»). В шкафах были все те книги, с которыми здороваешься, как с родней, приходя в гости, – «Убить пересмешника», черный Сэлинджер с мальчиком на обложке, синие корешки «Библиотеки поэта», серый Чехов, зеленый Диккенс. На полках стояли старые знакомые: деревянная собака и желтая пластмассовая собака, какой-то еще резной медведь с флажком на нитке. Все они словно присели перед дорогой, разом усомнившись в собственной

нужности.

Когда несколькими днями спустя я стала разбирать бумаги, среди фотографий и праздничных открыток почти не было письменного. Были залежи теплого белья и офицерских кальсон, были новые и красивые пиджаки и юбки, рассчитанные на особенный парадный выход и поэтому ненадеванные и всё еще пахнувшие советским магазином. Была вышитая мужская рубашка из до-войны, и маленькие костяные брошки, сквозные и девичьи, – роза, еще роза, журавль; они принадлежали Галкиной маме, моей бабушке Доре, их уже лет сорок никто не носил. Между всем этим существовала безусловная и прямая связь, и все это имело смысл и значение только как целое, в общей раме длящейся жизни, а теперь на глазах рассыпалось в пыль. В одной книге про устройство мозга я вычитала, что для того чтобы осознать в человеческом лице лицо, чтобы его как лицо опознать, необходима не столько совокупность черт, сколько овал. Без овала никак не обойтись: он – то, что ограничивает нашу историю, то, что собирает ее в умопостигаемое единство. Овалом может быть сама жизнь, пока продолжается; или, уже постмортем, связующая линия рассказа о том, что было. Покорное, разом ощутившее себя мусором, содержимое этого дома вдруг расчеловечилось и перестало хоть что-нибудь помнить и означать.

Стоя над ним, делая что положено, удивляясь тому, как мало в этом, таком читающем, доме писали, я с шаткой нежностью перебирала немногие словесные клавиши, на которые можно было нажать; какие-то фразы из недавнего или давнего, истории про хозяина барбоски, расспросы про то, как поживает малышка – мой подрастающий сын, рассказы о далеком, из тридцатых, походе через поля, быстро испаряющуюся, невозстановимую языковую ткань. «Я никогда не сказала бы шикарно, только роскошно!» – говорила мне Галка строго, и что-то еще такое, что уже не вспомнить, батя об отце, известия о подружках, новости соседок, вести из очень одинокой, самой собой питающейся жизни.

И все же квартира была местом письма, и вскоре об этом я узнала. Среди вещей, с которыми тетя Галя не расставалась до последнего, о которых спрашивала и которые трогала рукой, оказались тома и тома исписанных ежедневников, подневных хроникальных записей, которые она вела годами, ни-дня-без-строчки, в обязательном, как встать и умыться, режиме. Они всё еще лежали в деревянном коробе у изголовья кровати, их было много: хватило на две большие сумки, в которых я увезла их к себе домой, на Банный переулок, и сразу же села читать в поисках рассказа, объяснения, овала. И прочла; и странные же это были дневники.

* * *

Для пристрастного читателя разного рода дневников и записных книг они делятся на две внятные категории. Есть те, где речь специальным образом рассчитана на то, чтобы стать официальной и объясняющей, – и, стало быть, на то, чтобы быть услышанной извне. Тетрадь становится полигоном, местом для отлаживания и тренировки внешнего-себя, и, как какой-нибудь дневник Марии Башкирцевой, оказывается развернутой декларацией, нескончаемым монологом, обращенным к невидимой, но явно сочувственной инстанции.

Мне интересней дневники другого рода, те, что представляют собой рабочий инструмент, специально пригнанный под руку этого вот ремесленника и поэтому мало пригодный для чужих. Рабочий инструмент – это формулировка Сьюзен Зонтаг, десятилетиями практиковавшей этот жанр, и она кажется мне не вполне точной. Записные тетради Зонтаг, и не ее одной, – не просто способ сложить в беличий защечный мешок идеи, к которым еще предстоит вернуться или оставить быстрый, в три точки, очерк того, что случилось, чтобы вспомнить, когда понадобится. Это практика, совершенно необходимая для повседневной жизни людей определенного типа: каркасная сетка, на которой держится их привязанность к реальности и вера в то, что она непрерывна. Такие тексты имеют в виду одного-единственного читателя – зато очень заинтересованного; еще бы! Разломив тетрадь на любом месте, убеждаешься в собственной яви; она – набор вещественных доказательств, подтверждающих, что у жизни есть история и длительность – и главное, что до всякой точки своего прошлого рукой подать.

По большей части эти вещи (так богато представленные в дневниках той же Зонтаг – перечни фильмов и прочитанных книг, списки красивых слов, сушеные, как грибы, выжимки пройденного) почти никогда не имеют прямого выхода, последствий – не разворачиваются в книгу-статью-фильм, не становятся подпоркой или отправной точкой для реальной работы. Они вовсе не имеют в виду кому-либо что-либо объяснить (разве что себе, но таким галопом и такой скорописью, что иногда нелегко восстановить то, что именно имелось в виду). Это простой холодильник – или, как это было в старину, ледник, место хранения скоропортящегося продукта памяти, территория, где накапливаются свидетельства и подтверждения, вещественные залого не вещественных отношений, если воспользоваться гончаровской формулой.

Есть в этом что-то смутно неприятное, хотя бы в силу избыточности; говорю это с тем большим основанием, что я и сама из таких, и мои рабочие записи слишком часто кажутся мне балластом: мертвым, избыточным грузом, с которым хотелось бы расстаться, но что тогда от меня останется? В книге «The silent woman» Джанет Малькольм описывает интерьер, который чем-то похож на мою собственную тетрадь – и это жутковатое ощущение. Там, помнится, присутствовали журналы, книги, полные пепельницы, пыльные перуанские сувениры, немытая посуда и коробки из-под пиццы, банки, коробочки, открывашки, справочники «Who is Who», отвечающие за точное знание, и какие-то предметы, не отвечающие ни за что, потому как ни на что уже давно не похожие. Для Малькольм это жилье – борхесовский алеф, монструозная аллегория правды, месиво нерасчищенных фактов и версий, так и не обретшее чистый порядок истории.

* * *

Но дневники моей тети Гали были совершенно особого рода: пока я читала, их своеобразная текстура – больше всего похожая на крупноячеистую сеть – становилась все загадочней и все интересней.

В детстве на больших художественных выставках всегда было можно увидеть посетителей одного определенного типа. Почему-то большей частью это были женщины, они переходили от картины к картине, наклонялись к табличкам и делали записи на листках или в тетрадках. В какой-то момент я поняла, что они просто переписывают туда все выставленные работы, делают что-то вроде своеручного каталога – почти нематериальную копию увиденного. Я думала тогда, зачем им это, пока не поняла, что перечень дает иллюзию обладания: выставка должна была пройти и рассеяться, но бумага сохраняла порядок уходящих из-под носа картин и скульптур в первоначальном виде, как оно было, не давая им кончиться.

Галкины дневники были таким перечнем ежедневного случившегося, на удивление подробным – и при этом на удивление скрытым. Они всегда точно документировали такие вещи, как время вставания и засыпания, названия телепередач, количество телефонных звонков и имена собеседников, то, что было съедено, и то, что было сделано. Тем, что виртуозно и тщательно огибалось, было содержание дня, его наполнение. Было написано, скажем, «читала», но ни слова не говорилось о том, что это было за чтение и что оно

значило; и так было со всем, из чего состояла ее длинная и полностью записанная жизнь. Ничего указывающего на то, чем эта жизнь была, – ничего о себе, ничего о других, ничего, кроме дробных и подробных деталей, с летописной точностью фиксирующих ход времени.

Мне все казалось, что где-то эта жизнь должна высунуться – хоть раз, но показать себя, сказать все. В конце концов, она состояла из интенсивного чтения, а значит, и думанья, и еще из тихого кипения разнонаправленных прихотей и обид, которые много для моей тетки значили и подолгу ее занимали. Что-то из этого должно было сохраниться, разрешиться – гневным абзацем, где тетя Галя сказала бы этому миру и нам, его представителям, всю правду, все, что она о нас думает.

Но ничего такого в тетрадях не было. Были оттенки и полутона смысла, были какие-то складки текста, где задержалась эмоция, – «ура» на полях, когда звонили папа или я, несколько не поясняющих себя горьких фраз в родительские годовщины. И, в общем-то, всё. Словно главной задачей каждой записи, каждого ежегодно заполняемого тома было именно оставить надежное свидетельство о своей внешней жизни – а жизнь настоящую, внутреннюю, оставить при себе. Все показать. Все скрыть. Хранить вечно.

Чем она так дорожила в этих тетрадях? Почему до последнего дня держала их при себе, и боялась, что пропадут, и просила придвинуть поближе? Возможно, писанный текст, как он вышел, а вышел он рассказом об одиночестве и незаметном сползании в небытие, все же имел для нее силу обвинительного заключения – мир и мы должны были прочесть все это и понять наконец, как дурно мы с ней поступили.

Или, странно подумать, в этих скудных событиях для нее сохранялось какое-то вещество радости, которое ей важно было обессмертить, перевести в разряд рукописей, которые не горят – и говорят, вовсе не пытаюсь свидетельствовать? Если так, ей это удалось.

11 октября 2002

Опять от обратного. Сейчас 1:45. Только что замочила полотенца и ночнушки и др., что надо, кроме темного. Постельное позже. До того унесла все с балкона.

За окном +3 °С, вдруг овощи бы замерзли! Почистила тыкву и пока в короб ломтями, буду морозить. Очень медленно все! Под капустник на РТР за два часа сделала и чуть еще время ушло. До того чай с молоком.

С 16 до 18 спала, не было сил, чтобы не прикорнуть. До того звонок Т. В. о телефоне на Войковской. А его звонок до 12: работает ли телек? А он с утра не работает ни на одном канале. Я поднялась около 8, когда Сережа (житель. – М. С.) умывался, а после 9-ти, долго собираясь, ушла. Автобус № 3 пришел в 9:45, ждали его долго. Надо было идти на 171-ый. Везде уже были толпы и все получилось долго. Уральская, автовокзал, газеты. Зато купила тыкву, впервые увидев ее за этот сезон, и морковь. Дома была около 12-ти. Хотела посмотреть «Коломбо». А с ночи после 1:45, измерив давление, приняла клофелин, ждала, пока оно снизится, чтобы еще принять лекарства. А, двадцать минут провозившись, не смогла его измерить и легла уже в 3 часа.

8 июля 2004

С утра хороший солнечный день, без дождя обошлось. Утром пила кофе со сгущенкой и ушла около 11 на Алтайскую. Там оказалась толпа, и я сидела очень долго, до 13-ти, у пруда, смотрела на зелень, облака, небо, пела и так мне было хорошо!

По дорожкам прогуливали собак, везли малышей в колясках, целые группы загорали в купальниках, отдыхали и веселились.

Заплатила уже без очереди, купила творог и поплыла домой. У новой школы такая роскошная зелень – кашки высоченные, шиповник – удивительно красиво! А на дороге ребята-мальчишки играли в разбитой машине. У них была пластиковая бутылка, набитая до крышки стручками. Говорят – съедобные.

11 октября 2005

Не было сна и желания вставать, шевелиться, что-то делать... 10:40 принесла почту, снова легла. Света вскоре пришла, такая умница – купит всё лучше меня! Выпила чай и лежала весь день. Поблагодарила Вл. Вас. за почту!..

Боброва дозвонилась до меня после 12-ти. Она приехала в четверг...

Я звонила в 79-ую Морозке, Ире из ЦСО, вечером – Юрчуку. Под ТВ убрала со стула стирку. Легла 23:30.

Жарко. Надела юбочку Тони. «Серая бесцветная, никому не нужная жизнь». Днем – чай, вечер – кофе! Аппетит полностью отсутствует!

И все-таки там была одна запись, непохожая на остальные, от 17 июня 2005 года.

С утра позвонила Симе. Потом достала альбом. Конечно, встряхнула все фото и долгое время их рассматривала. Есть не хотелось, а это занятие вызвало такую тоску, слезы, грусть и по ушедшему времени, и по всем тем, кого нет, и по бестолковой, точнее напрасной жизни своей, по пустоте, что на душе... Хотелось забыться.

И легла я снова в постель и весь день, даже странно, непонятно как, спала, почти не поднимаясь, до самого вечера, до 20-ти часов, когда, выпив молока и закрыв шторы, снова легла и продолжился этот сон, уводивший от действительности. Сон – спасение.

* * *

Прошло сколько-то месяцев или лет. Галкины тетради лежали тут и там, смешиваясь понемногу с другими бумагами, какие оставляешь на поверхности, имея в виду, что они немедленно пригодятся, и так они стареют под рукой, как домашняя утварь. Я вспомнила их исподволь, когда оказалась в Починках.

Глухой заштатный городок в Арзамасском уезде, двести с длинным хвостом километров от Нижнего Новгорода, Починки пользовались в нашем доме сомнительной славой. Это было место, откуда все вышли и куда никто не хотел возвращаться семьдесят или сколько там лет. Набоков пишет про существование как про щель слабого света между двумя идеально черными вечностями; кажется, что первая – та, где нас еще нет, – зияет глубже; вот такой

дырой в семейной памяти стал за годы этот тишайший населенный пункт, никому особо не интересный.

Семья там была, кажется, огромная; я смутно помнила рассказы о братьях и сестрах, которых было больше десятка, фотографии телег с лошадьми и деревянных строений, и все это заслонялось позднейшей историей о невероятных приключениях уроженки Починок моей прабабушки Сарры Гинзбург. Как-то она успела и отсидеть в тюрьме в царские еще времена, и пожить во французском городе Париже, и выучиться на врача, и лечить советских детей, включая мою маму и меня, и все, что о ней ни рассказывали, имело лавровый привкус легенды. Проверять ее истоки никто и не брался.

Был, впрочем, у нас родственник, который все же собирался в Починки – теперь, съездившись за век, они стали селом – как в полярную экспедицию и пытался подбить на это ближних и дальних, меня в числе последних. У него были удивительно прозрачные глаза и постоянный, работавший как моторчик энтузиазм, поводы для которого он обсуждал со взрослыми. В Москве он бывал нечасто и, приехав туда с разговорами о поездке, вдруг не застал там моих родителей: они жили теперь в Германии, семью представляла я. Никогда не думавшая о сентиментальных путешествиях такого рода, я вдруг легко воодушевилась: наше месторождение впервые показалось достижимым, то есть реальным. И чем больше мой собеседник настаивал на тяготах пути и дальности расстояния, делавших путешествие маловероятным, требующим подготовки, планирования, мысли, тем понятней выходило, что добраться до него как-нибудь да можно. Этот саратовский Лёня намеревался поехать в Починки семьей, имея в виду что-то вроде возвращения колен Израилевых, которых должно быть много; так и прособирался и умер лет десять назад. Починки продолжали стоять невидимые, как Китеж.

И вот я понемногу к ним приближалась. Что меня подгоняло – не знаю, и вовсе уж непонятно, что именно я рассчитывала там обнаружить, но перед дорогой я посидела в интернете, вроде как наводясь на резкость. Выходило, что место это и впрямь потустороннее, размещенное на старой карте глубоко за Арзамасом, в Лукояновском уезде – под боком у пушкинского Болдина, среди населенных пунктов с именами Утка и Погибелка. Поезда даже близко не подходили к этим краям, от любой железнодорожной станции было добираться еще часа три. Решили ехать без выкрутасов: машиной из Нижнего.

Отправились рано утром, по розовым, не оправившимся от зимы проспектам. Странная, не вполне обеспамятевшая городская среда – индустриальные постройки пополам с деревянными домами, не сдающими новому миру ни пяди, с их заборами и палисадами, – съезжала в овраги и снова подступала к стеклам. Когда выбрались на шоссе, машина пошла сама собой, набирая бессмысленную гоночную скорость; водитель, отец трехмесячного сына, руки на руле, пренебрежительно молчал. Дорога ходила вверх-вниз прижимистыми волнами, под елями попонками лежал выживший из ума снег. Мир беднел с каждым прожитым километром. В почернелых поселках светили фаянсовым блеском новенькие церкви, белые, как зубные коронки. Со мной был путеводитель, обещавший красоты Арзамаса, давно оставшегося далеко по правому боку, и книжечка про Починки, изданная двадцать лет назад. Там упоминалась лавка еврея Гинзбурга, торговавшего швейными машинами, и это было все. О героической Сарре там и не слышали.

Ехали долгие часы. Начались наконец смурные, не тосканские-мандельштамовские, а умбрийские какие-то холмы цвета темной меди, ровные, как вдох и выдох. Иногда отсвечивала быстро кончавшаяся вода. Как миновали развилку, ведущую к Болдину, стали попадаться памятники Пушкину; по преданию, его деревенская любовница была родом из села Лукоянова, давшего название уезду. Стояли древесные табунки.

Городок был выстроен вдоль главной продольной улицы; от нее расходились влево-вправо аккуратные линии-перпендикуляры. По ту сторону дороги стояла хорошая классицистская церковь – как объяснял путеводитель, это был Рождественский собор, где служил когда-то священник Орфанов. Фамилию я знала: Валя Орфанова передавала мне в детстве приветы, а один раз попросила маму купить мне от ее имени книжку, чтобы Маша помнила. Из того, что было в букинисте, мама выбрала сборничек Сологуба. На беду это оказался «Великий благовест», книжка революционных стихов, изданная в 1923-м; речевки вроде «Я свободный пролетарий с сердцем пламенным в груди», по моим тогдашним меркам, никуда не годились, а оценить звук я была еще не в состоянии, а ведь было что:

Конь офицера

Вражеских сил

Прямо на сердце,

Прямо на сердце ступил.

На пустынной площади, с которой хотелось поскорей свернуть туда, где есть что смотреть и трогать, нас встречала Мария Алексеевна Фуфаева, историк починковской жизни. В этот воскресный день для нас открыли библиотеку, место местной культуры, где была выставка: кто-то прислал из Германии столетней давности акварели – портреты домов и улиц. Эта немецкая семья жила в Починках с конца девятнадцатого века, и я вдруг вспомнила слышанную в детстве фамилию – Гетлинг. Картинки были гемютные, цветные; Августа Гетлинг, сестра их автора, готовила мою юную прабабку к гимназии вон в том веселом домике с мальвами и надписью «Аптека». Он все еще стоял, облицованный каким-то бетоном, потерявший крылечко, ни цветов, ни резных наличников. Где жила в начале двадцатого моя Сарра со своей родней, широким двором, телегой, никто не знал.

И это было все, только это и было, как в дневниковых записях тети Гали, где приходилось довольствоваться отчетами о погоде, перечнем продуктов и телепрограмм. То, что за этим стояло, колеблясь, гудя, не торопилось себя обнаружить, а может, и вовсе не собиралось этого делать. Нас угостили чаем, нас повели гулять. Я шарила глазами по земле, словно пыталась найти копейку.

Село так и не затянуло очертания того, что было городом, существовавшим вокруг крупнейшей в уезде, а то и во всей губернии конской ярмарки. Мы прошли насквозь когдатошнюю базарную площадь – огромное ее пространство теперь заросло деревьями, где-то по центру присутствовал свинцового цвета памятник Ленину, но место явно отвыкло от людей, слишком велико оно было, чтобы найти себе новое назначенье. Его окаймляли сошедшие с тех картинок игрушечные домики, некоторые со следами быстрой и насильственной перестройки. Мне показали еще одно пустое место – асфальтовый квадрат вместо лавки Соломона Гинзбурга, старшего брата Сарры, и мы наскоро сфотографировались: группа нахохленных женщин в пальто и шапках. Ветер дул. На краю травы, у проезжей дороги, серебрился еще один памятник: могучему жеребцу Капралу, двадцать лет прослужившему в этих местах производителем.

За мостом через реку Рудню, если проехать сколько-то, стояло пережившее себя градообразующее предприятие – завод лейб-гвардии Конного полка, построенный в пушкинские времена. Лошадей здесь разводили и раньше, «аргамачих и нагайских жеребцов, и коней, и мерингов, и кобылиц ногайских, и

стадных и русских жеребят», потом Екатерина II поставила это дело на промышленную ногу, и огромный завод с его классическими линиями и потрескавшейся белизной, с просевшей и рухнувшей центральной башенкой, с входным порталом, зеркально отраженным на той стороне квадрата, имел в виду быть оплотом цивилизации, островом упорядоченного петербуржества. Он окончательно зачах совсем недавно, в девяностых. Сейчас его окружало поле, долыса вылизанное долгой зимой. По открытым загонам ходили последние лошади: рыжие, тяжеловатые, со светлыми вахлацкими челками. Они поднимали головы и тыкались носом в протянутые руки. Небо стало уже совсем ослепительным, облака были летучая гряда, облупившаяся краска показывала розоватую тельную основу.

Мы проехали уже полдороги, когда я вдруг поняла, что не догадалась сделать главное: здесь не могло не быть кладбища, еврейского или хоть какого, где все мои лежат. Водитель выжимал свои сто двадцать, мелькали названия, Суроватика, Пешелань. Я стала звонить Фуфаевой; кладбища давно не было, как не было уже в Починках евреев. Один, впрочем, остался, она знала, кто он и как зовут. Как ни странно, фамилия его была Гуревич: как у моей мамы.

Глава вторая, о началах

В первый раз я уклонилась от написания этого текста тридцать с чем-то лет назад, оставив его на вырост на второй или третьей странице школьной тетради в линейку. Объем и значимость предполагаемого были так велики, что само собой подразумевалось уютное «не сейчас».

Строго говоря, история этой книги сводится к набору отказов: случаев, когда я по-разному от нее отделялась: откладывала на потом, на лучшую-себя, как тогда в детстве, или приносила ей маленькие, посильные, заведомо недостаточные жертвы, делая на клочках по ходу поезда или телефонного разговора что-то вроде коротких зарубок (для памяти – из этих двух- или трехсловных концентратов память должна была собрать и возвести складную походную конструкцию, жилую палатку сюжета). Вместо памяти о случившемся, которой у меня нет, работать должна была свежая память о чьем-то рассказе; ей предоставлялось размочить сухую скоропись так, чтобы та развернулась вишневым садом.

В русских мемуарах начала двадцатого века упоминается детская забава: на дно чашки кладут желтоватые пластины, заливают водой, и они начинают сиять навстречу неправдоподобными китайско-японскими красками, цветением заморского и чужого. Я никогда их не видела, где теперь это все? Зато в арсенале семейного, еще-от-бабушки, новогоднего богатства был человек-курилка, чернолицый шкет ростом со спичку, который убедительно курил микроскопические белые сигаретки – и дым шел, и огонек смещался пеплом, пока запас курева не закончился навсегда. Теперь о его способностях приходилось просто рассказывать, и это можно считать хеппи-эндом – рай для исчезающих вещей и обиходных занятий, видимо, в том и состоит, чтобы быть упомянутыми.

Итак, в первый раз я начинала писать эту книгу, когда мне было десять лет, и было это в квартире на Банном переулке, где я набирала первые буквы этой главы. В восьмидесятых у окна был письменный стол со щербатым краем, светила оранжевая настольная лампа, к ее белому пластиковому основанию я приклеила переводную картинку, лучшую из всех. Под темным и снежным небом плюшевая мать-медведица везла на санках елочку и мелкого, косо сидящего медвежонка, где-то сбоку был прилажен мешок с подарками. Картинок на листе, отливавшем пасмурным липким гляncем, было пять или шесть, их отрезали по одной, вымачивали в миске с теплой водой. Потом надо было ловким движением снять с листа прозрачную цветную пленку, и быстро-быстро перенести ее на голую поверхность, и расправить, загладить морщины. Помню на дверцах кухонного шкафа мальчика-кота в плаще и карнавальной маске, еще – пингвина и пингвиненка в зелено-розовых зубцах северного сияния. Но медведи были мне милей.

Как будто, если я перечислю поштучно все эти вспоминаемые на ходу лоскуты старой жизни, которые еще двадцать лет, до ремонта, снашивались и чернели на дверцах кухонного шкафа и только теперь ожили и налились цветом, – толстый мальчик в сомбреро и зелено-желтом домино! полумаска без хозяина, а вокруг вензеля елочной канители! – мне полегчает. «Тут-то ему и конец пришел»: на этом я и рассыплюсь на сотни ветхих, сгнивших, потускневших вещей и вещичек. Как будто делом моей жизни было составить им каталог. Как будто за этим я и росла.

Второй раз я начала писать эту книгу, сама о том не зная, в свои кривоватые и дикие шестнадцать лет. Дело было на излете любовной истории, которая казалась мне тогда страшно важной, имеющей всё определить; с годами она так

поблекла и заветрилась, что сейчас уже и не восстановить то чувство начала-всего, с которым я сквозь нее проходила. Но один сюжет я помню очень основательно. Когда стало понятно, что все закончилось – если не в моей голове, то в делах и днях, – я посчитала необходимым запомнить существенное, своего рода избранное: детали, точки сборки, повороты разговоров, отдельные реплики. Мне хотелось их зафиксировать – подготовить к дальнейшему, когда-нибудь, описанию; линейный способ повествования тут никак не годился, очень уж неубедительной была эта самая линия. Я тогда записала все, что казалось важным не забыть; на каждый клочок бумаги приходилось слово или словосочетание, которое немедленно выстраивало в памяти здание события: разговор, угол улицы, шутку или обещание. Поскольку все случившееся отчаянно сопротивлялось в моей голове любой попытке себя упорядочить, наладить последовательность – алфавитную ли, хронологическую, – задача будущего была такой: когда-нибудь, очень скоро, я сложу все эти обрывки в шляпу (папину, у моего папы была прекрасная серая шляпа, которую он не носил) и буду вытягивать по одному и по одному записывать, сюжет за сюжетом, точка за точкой, пока не придет пора оставить эту карту страны нежности в покое: памятником себе самой. Со временем эти тридцать-сорок записочек расползлись по ящикам тогдашнего стола, а потом и просто как-то расточились, провалились в дыры переездов, перестановок, внезапных генеральных уборок.

Надо ли говорить, что я не помню ни одного из сорока слов, забыть которые так боялась столько-то лет назад.

* * *

Но сама идея обрывочного, не глядя, припоминания-приподнимания своей или общей истории из тьмы известного и подразумеваемого продолжает волновать до сих пор. Начальная стадия этой спасательной операции стала для меня делом привычным; скоропись на конвертах по ходу телефонного разговора, быстрые в три слова записи в рабочей тетради, невидимые каталожные карточки, которые бессистемно и наспех пополняются и никогда не просматриваются, все это постоянная составляющая моего сегодня. Только людей, с которыми еще можно поговорить про как было, все меньше.

При этом я всегда знала, что когда-нибудь напишу книгу о семье, и было время, когда это казалось делом жизни (суммарных, сведенных воедино жизней – поскольку, так уж вышло, я стала первым и единственным человеком этой

семьи, у которого нашелся повод для речи, обращенной вовне: из интимного разговора своих, как из-под теплой шапки, – в общий вокзальный зал коллективного опыта). То, что всем этим людям, живым и мертвым, не пришлось быть увиденными, что жизнь не дала им ни одного шанса остаться, запомниться, побыть на свету, что их обыкновенность сделала их недоступными для простого человеческого интереса, казалось мне несправедливым. Вроде как требовалось говорить о них, за них – и страшно было начать, оказаться вместо любопытного слушателя и адресата – крайней точки рода, куда, как сходящиеся линии проводов, обращена многоочитая и многоярусная семейная история, – тем самым чужим и другим. Рассказчиком то есть, инстанцией отбора и отсева, тем, кто знает, какая часть общего объема нерассказанного должна переместиться в световое пятно, а какой так и предстоит остаться во тьме, внешней или внутренней.

Занятно, как подумает, что существенная часть усилий моих бабушек и дедушек была направлена как раз на то, чтобы оставаться невидимыми. Достичь искомой неприметности, затеряться в домашней тьме, продержаться в стороне от большой истории с ее экстракрупными нарративами и погрешностями в миллионы человеческих жизней. Осознанно или неосознанно они делали этот выбор – кто знает; осенью 1914-го, когда моя молодая прабабка кружным путем вернулась в Россию из воюющей Франции, она могла, например, взяться за старое и развернуть революционную агитацию, попасть в учебники истории и, очень возможно, в расстрельные списки. Вместо этого она ушла за поля учебника, куда даже сноска не дотянется – видны только обои с разводами и безобразная желтая масленка, которая пережила и хозяйку, и старый мир, и двадцатый век.

В ранней юности это будило во мне неловкость, которую было сложно перевести в слова и стыдно осознать до конца. Она относилась, как бы это сказать, к сюжетостроению – я вынуждена была признать, что моя родня мало постаралась, чтобы сделать нашу историю интересной для пересказа. Это было особенно очевидно в военные годовщины – войне было всего-то сорок с небольшим, мой теперешний возраст, на школьные праздники приходили чужие деды в цветах и медалях, рассказывали мало (случившееся с ними плохо поддавалось расфасовке на байки и былички), но стояли у черной доски прямо: не свидетелями, так свидетельствами. Мой же дедушка Лёня не воевал, он был инженером и работал в тылу; на дедушку Колю с его офицерской книжкой и орденом Красной Звезды было больше надежды – но он, как объясняли, в войну служил на Дальнем Востоке, и до ответов на вопросы о том, воевал ли, дело так и не доходило.

В какой-то момент стало казаться, что все же не воевал: был под подозрением после того, что с ним случилось, – темной истории, которая, как туча, висела над этой частью семьи и никогда не разрешалась рассказом. Это называлось «когда отец был врагом народа» и приходилось на 38–39-й годы, пору негласной «бериевской» амнистии, когда кого-то неожиданно выпускали, а кого-то, как деда, не успели посадить. Что именно произошло тогда, описывалось туманно и впроброс, и только потом я сопоставила даты и поняла, что на эти же зачерненные дни пришлась бабушкина вторая беременность – мой папа родился 1 августа 1939-го, ровно за месяц до начала мировой войны и оденовского стихотворения:

Waves of anger and fear

Circulate over the bright

And darkened lands of the earth,

Obsessing our private lives;

The unmentionable odour of death

Offends the September night.

Бог ведь каким чудом он оказался среди тех, кто выжил и вырос в полной семье, где были все: и мать, и отец, и сестра; я знаю две версии того, как разрешилась эта история, и та, что бытовала в моем детстве, кажется елочной, апокрифической, в свое время мы до нее дойдем. В любом случае рассказ о дедушке-военном не клеился никак – в домашнем нарративе деду отводилась роль щепки в водовороте, все это никак не ложилось в русло хорошего отчета о войне и победе.

В общем, у всех родственники были фигурантами истории – а мои квартирантами, что ли. Никто из них не воевал, не был репрессирован (непрозрачные отсылки к аресту и допросам касались и второго деда, но и там, похоже, рассосалось, обошло стороной), не оказался под немцами, не попал ни в одну из больших боен столетия. Особняком стоял рассказ про двадцатилетнего сына прабабушкиной сестры Верочки, погибшего на Ленинградском фронте, – но эта история была не про войну, а про несправедливость, и была обколота таким количеством ледяных иголок, и фотографии мальчика в тупоносых валеночках настолько не могли закончиться похоронкой, что до сих пор у меня, как когда-то

у мамы, от которой я перенимала все слова и имена, темнеет в глазах и горле при слове Лёдик.

И, конечно, среди них не было известных людей – если считать армию искусств действующей, то и здесь мои родственники как бы настаивали на штатской неприметности. Среди них были врачи, много врачей и инженеров, были архитекторы (но особого, непарадного рода – проектировавшие не шпили и фасады, а дороги и мосты), были бухгалтеры и библиотекари. Это была очень тихая жизнь, похоже – в стороне от работающих мельниц современности. Почти никто из них не состоял в партии, но и в этом не было ничего демонстративного; просто их жизнь, кажется, проходила глубоко внутри жилы, не выходя на поверхность, где любое движение становится заметным и имеет последствия и масштаб. Теперь, когда уход в последнюю тьму сделал их истории завершёнными, о них можно говорить и рассматривать, можно поднести близко к глазам. В конце концов, быть увиденным – своего рода неизбежность, и один лишний раз им вряд ли повредит.

* * *

Время от времени, это всегда был вечер, и обычно выходной – или особого рода выходной, когда болеешь и выздоравливаешь, – мама вдруг звала посмотреть фотографии. С усилием (потому что эта часть шкафа примыкала к дивану и дело требовало сноровки) открывалась дверца, и, уж для полного моего счастья, выдвигался дополнительный ящик с коробочками. В коробочках хранилась милая сердцу мелочь, паспортные и еще какие-то фотографии всех лет, крымские довоенные камешки, чьи-то вековой давности погребушки, дедова готовальня («вырастешь – я тебе отдам»), что-то еще. Альбомы лежали по соседству, и было их много. Некоторые были туго, до полного истончения шкуры, насыщены фотографиями, другие стояли пустые, но их тоже извлекали на свет. Самый солидный был затянут в рыжую кожу и имел серебряного вида сбрую; был черный лаковый – с желтым феодальным замком на го ре и «Lausanne», косо написанным поперек. Был ар-нувошный, с металлическими вензелями и уже сто лет назад устаревшей японской чио-чио; были еще, толще и тоньше, больше и меньше. Страницы были не по-нынешнему тяжелые, с широким серебряным обрезаем и прорезьями, в которые полагалось вставлять фотографии – и некоторую тоску нагоняло то, что фотографии сегодняшние, на скользкой и глянцевой бумаге, к этим прорезам никак не подходили, были шире или уже и уж точно легчевесней. То, тогдашнее, выглядело основательней и долговечней, было рассчитано на другую длительность и странным образом

ставило под сомнение любые мои потуги встроиться в соседнюю рамку.

К фотографиям прилагались рассказы. Люди с дремучими бородами и люди в очках с тонкими оправками имели к нам прямое отношение, были прадедами или прапрадедами (некоторые пра- были лишними, я набавляла их в уме для вящей солидности), их знакомыми или друзьями; девочки оказывались бабушками или тетями с похожими до неразличимости именами. Тетя Саня, тетя Соня, тетя Сока чередовались на этих портретах, меняя возрастные этажи, но не выражение лица, сидели и стояли на фоне туманных интерьеров или неправдоподобных пейзажей. Смотреть начинали с начала, от первых бород и воротников, и ближе ко второй половине вечера расплывалось все, кроме ощущения объема. Он был велик; географический разброс – непомерен: Хабаровск и Горький, Саратов и Ленинград, где жили все эти люди или их потускневшие от времени дети, не привязывали семейную историю к месту, а лишний раз ее сдвигали в не-здесь. Счастьем было добраться наконец до маленького альбома, где была моя маленькая мама – насупленная в эвакуационном Ялуторовске, с куклой в подмосковном Нахабине, в матроске и с флажками в детском саду. Это был масштаб, мне доступный и соразмерный; в некотором смысле для него все и затевалось – увидеть эту детскую маму, надутую, напуганную, бегущую со всех ног по какой-то забытой годы назад глиняной дорожке, значило оказаться на территории новой, опережающей близости, где я была старше и могла ее приголубить и пожалеть. Глядя на это дело обратными глазами возраста, я понимаю сейчас, что укол жалости и равенства, пронзавший меня тогда, был сделан слишком рано – но хорошо, что был: оказаться старшей и жалеющей мне так и не пришлось.

Только много позже я заметила, что все переплеты, рассказы и золотые бока фотографий (потому что у них были полноценные бока, и вензеля и надписи на оборотах, имя фотографа и город, где снято) были со стороны невесты, с маминой стороны. С папиной – кроме двух-трех карточек, стоявших на книжной полке, не было ничего. А на этих карточках молодая бабушка Дора была похожа на мою молодую маму, а суровый дедушка Коля на старого Пастернака, и так, молчаливо присутствуя в домашнем красном углу, они почти не имели отношения к широкому течению семейной истории, к ее причалам, отмелям и устью.

И еще были альбомы с открытками (которые потом оказались перепиской, тем, что осталось от эпистолярного прабабушки Сарры, беглыми вестями из Парижа, Нижнего, Венеции, Монпелье), целая библиотека другой, утонувшей

визуальности. Щекастые красавицы и усастые красавцы, русские дети в кафтанчиках и символистские смерть-и-девы, горгульи и нищенки. И, уже безо всякой скорописи на той стороне, города, ровно-коричневые итальянские, французские и немецкие ведуты.

То, что я больше всего любила, была маленькая серия открыток с ночными городами – сумеречные сады, трамвай, светящийся на крутом повороте, пустая карусель, чей-то потерявшийся ребенок стоит у клумбы, держа в руках ненужное серсо, высокие дома и невыносимо рыжие, словно напомаженные, окна, за которыми идет еще та, старинная жизнь. Все это, темно-синее и в огнях, источало чистое вещество тоски – и было недостижимо вдвойне и втройне. И потому, что невозможность путешествовать была составной и внятной частью повседневности: люди нашего мира за границу не ездили (а двое или трое выездных знакомых были вроде как позолочены редкой и дорогой удачей – какая случается нечасто и не с каждым). И потому, что современный Париж из путеводителя, написанного Моруа, никак не был похож на тот, синий и черный, из чего ясно следовало, что то, как его ни назови, кончилось давно и бесповоротно. Открытки, как и визитные карточки, как и бледные конверты с матово-малиновым нутром, прямо-таки просились к немедленному применению – но невозможно было себе представить, что? с ними здесь и сейчас делать. Альбомы поэтому закрывались и отправлялись на полку, открытки раскладывались по коробкам, вечер кончался, чем кончаются вечера.

Какие-то вещи этого старого мира (а дом был ими набит, стоял на них, как на лапах) все же удавалось приспособить к новой жизни; желтоватые сложные кружева нашили мне на мушкетерский мундир для школьного карнавала, в другой раз сгодилась черная парижская шляпа с неправдоподобной длины и кучерявости страусовым пером. Маленькие лайковые перчатки уже было не натянуть (они съежились от времени, но казалось, что просто не по руке – и я, как золушкина сестра, стыдилась широкой кости). Из цветных и легких гарднеровских чашек пили чай два-три раза в год, когда являлись гости. Все это приходилось на праздники – непарный сапожок обыденной жизни, когда все законы съезжают набок и можно, чего нельзя. В остальные дни альбомы лежали, а время шло.

Здесь надо сказать, и очень отчетливо, что семья была самая обыкновенная, не из богатых, не из заметных, и что груз сохранившегося старого на поверку, когда все начало всплывать, а вещи – восстанавливать понемногу свой первоначальный смысл, оказался, чем и был изначально: музеем

интеллигентского быта начала столетия, с измученной тонетовской мебелью, парой дубовых кресел и чернокожим собранием сочинений Л. Н. Толстого в издании Сытина. То, что могло показаться зарытым сокровищем, им и было, но в каком-то другом, специальном смысле. Часы били, барометр показывал бурю, пресс-папье с совой ничего особенного не делало. Главной задачей этих нехитрых и неизощренных вещей было, кажется, оставаться вместе, и у них получилось.

* * *

Как подумаешь, странно, что эта задача – вспомнить всех – была со мною всю жизнь и что я тем не менее до такой степени не готова это сделать, ни тогда, ни сейчас. Никакие повторения пройденного – а каждое погружение в подводные пещеры прошлого подразумевало именно это: перечисление тех же имен и обстоятельств, почти без дополнений и разночтений, – не заставили меня выучить наизусть этот перечень. Что-то заскакивало в память само, на правах трамвайного зайца, как правило, это была байка или курьез – словесный эквивалент бартовского *punctum*'а. Это были сюжеты из тех, что годятся для пересказа; и действительно, какая мне разница, врачом или присяжным поверенным был очередной родственник с крахмальным воротом. Некоторое чувство повинной неполноты еще больше мешало запоминанию и заставляло меня откладывать на потом подробные расспросы. Было и так ясно, что вот когда-нибудь (когда dorасту до той лучшей-себя) я возьму специальную тетрадь, мы с мамой сядем рядом, и она расскажет мне все с начала, и тут-то будет, наконец, и смысл, и система; и генеалогическое дерево, которое я нарисую, и точное знание каждого брата и племянника, и, наконец, книга. В самой необходимости такого запоминания мне ни разу не пришло в голову усомниться.

Но я не расспросила и не запомнила – и это при некоторой способности к легкому усваиванию ненужного и обезьяньей памяти на все словесное. Так пазл и не сложился: остались скороговорка «Саня-Соня-Сока» и некоторое количество безымянных, без сносок, фотографий, летучие истории без носителей и знакомые лица неизвестных людей.

Чем-то все это похоже на маджонг, который был у меня на даче. Дача (дачка: комнатка, кухонка, терраса, заболоченный клочок земли, где держались за землю упрямые яблони) была в подмосковной Салтыковке; туда мои родные

десятилетиями свозили все отживающее, и там оно крепко и основательно вело вторую жизнь. В доме, кажется, ничего и никогда не выбрасывали, и постаревшие вещи уплотняли мир и делали его однозначней. Бывшая мебель старела в тяжелой работе: вмещать, собирать, выдерживать наше летнее домохозяйство; бессмысленные чернильные приборы в сарае, столетние ночные рубашки в комод, и там же, на полке за зеркалом, маджонг в холщовом мешочке. Это была вещь, которая интриговала меня годами, – и с каждым новым летом я надеялась в ней разобраться и поставить ее на службу человеку. Не получалось.

Было известно, что прабабушка привезла маджонг из-за границы (и, поскольку в доме были два невесомых от старости кимоно, большое и маленькое, мое, я не сомневалась, что граница была русско-японская). В мешке лежали темно-коричневые костяшки, каждая с белым брюхом, покрытым непонятными иероглифами, которые не удавалось разобрать – и отправить лодку к лодкам, а растительный завиток к ему подобным. Категорий оказывалось слишком много, родственных элементов – до тревожного мало, приходила мысль о том, что за годы какие-то костяшки могли затеряться, и запутывала меня окончательно. Наличие какой-то системы было здесь очевидным, но такой же внятной была невозможность ни разобраться в ней, ни даже придумать на ее основе свою, попроще. Даже унести костяшку для таскания в кармане было нельзя, чтобы не обездолить целое.

Когда я собралась вспоминать всерьез, стало вдруг ясно, что у меня ничего нет. От тех вечеров при свете старых фотографий не осталось ни дат, ни данных, ни даже простого пунктира родственных связей: кто чей брат и чей племянник. Ушастый мальчик в тужурке с золотыми пуговицами и ушастый взрослый в офицерском сукне – явно один и тот же человек; но кем они мне приходятся? Помню, и то нетвердо, что звали его Григорием, но и это не помогает. Люди, составлявшие тот мир с его валентностями, родственными связями и междугородней порукой тепла, умерли, разъехались, потерялись. История семьи, которую я запомнила в поступательном темпе линейного нарратива, развалилась в моем сознании на квадратики фрагментов, на сноски к отсутствующему тексту, на гипотезы, которые не с кем проверить.

Потому что мало того, что вокруг маминих рассказов вилось некоторое количество недостоверных сюжетов – из тех, которые добавляют перца заурядному переходу поколения в поколение, но присутствуют на правах апокрифа, нетвердого приложения к точному знанию. Такие байки обычно

существуют в режиме роста, которому еще только предстоит развернуться и дорасти до жизнеподобия; их формат – полфразы на полях основного рассказа. Говорили, что он жил там-то; кажется, она была то и это; по легенде, с ними случилось то-то. Это, конечно, и есть самая сладостная часть предания, его сказочный элемент. Эти зародыши романной формы – то, что запоминается навсегда, поверх скучных обстоятельств времени-места; их-то и хочется развернуть, пересказать, насытить деталями собственного изготовления. Их я помню хорошо. Беда в том, что без носителя и они теряют смысл и проверяемость – а со временем и индивидуальность, выстраивая себя в памяти по обиходным моделям, в русле типического. Трудно сказать уже, что из усвоенного мною было – даже не на самом деле, а на самом слове: что из этого передавалось из уст в уста, а что я, сама того не зная, пристроила к рассказу по собственной воле.

А иногда – зная; хорошо помню, как в той же непотребной юности я пыталась быть интересной, рассказывая кому-то историю о семейном проклятии. Он женился, говорила я, по страстной любви на обедневшей польской дворянке, для этого ему пришлось креститься – и отец проклял его и больше никогда не сказал ему ни слова, они жили в нищете и вскоре умерли от чахотки.

На самом деле никакой чахоткой история не кончилась – в семейных альбомах есть фотографии отверженного сына в его счастливом, кажется, будущем, в очках и внуках, на заурядном советском фоне. Но вот польская дворянка – была ли она, или и ее я добавила к истории для вящей красоты? Польская – для интригующей иноземности; дворянка – чтобы разбавить скучноватый перечень купцов, юристов и докторов не-своим и необщим? Не знаю, не помню. Что-то такое было в мамином рассказе, брезжит какая-то отправка точка для вольного фантазирования – но нет уже никакой возможности ее увеличить и добраться до начального зерна. Так в моей истории и останется ненадежная польская дворянка причиной твердой и безусловной семейной беды. Потому что проклятие было; и нищета была, и прапрадед мой так больше и не увидел своего первенца, а потом все они умерли, так и есть.

И было еще другое, то, что досталось мне в наследство и что имеет отношение к самой конструкции этой истории, к тому, как и кем она рассказывалась. Это представление о нашем роде как женском, как о чередующихся, отдельно стоящих (верстовыми столбами по ходу столетия) женщин: их судьбы были предъявлены с особенной крупностью, они – держась друг за друга и друг в друга переходя – составляли первый план общей многоголовой фотографии.

Странно, как подумаешь, что у всех у них были мужья – но мужчинам этой семьи почему-то доставалось меньше света, словно у истории были сплошь героини, а на героев она поскупилась. С другой стороны, своя правда здесь была, хотя мужчины в этом и не виноваты – не на них род держался, и не по их вине. Один рано умер, другой умер еще раньше, третий был занят другими, почему-то несущественными, вещами. Последняя линия передачи – та часть рассказа, когда веселая суতোлка многообразия уже выстроилась в предысторию, в ступеньки, уверенно бегущие/ведущие ко мне, состояла в моем уме (и, может быть, в мамином) уже исключительно из женщин. Сарра родила Лёлю, Лёля родила Наташу, Наташа родила меня. Поколенческая матрешка вроде как предполагала преемственность единственных дочерей: раз уж так вышло, что одна выходила из другой, помимо всего прочего ей доставались дар и возможность быть единственным рассказчиком.

* * *

Что я, собственно, имела в виду, что собиралась сделать все эти годы? Поставить памятник этим людям, сделать так, чтобы они не растворились неупомнутыми и неупомненными. Между тем на поверку оказалось, что не помню их прежде всего я сама. Моя семейная история состоит из анекдотов, почти не привязанных к лицам и именам, фотографий, опознаваемых едва ли на четверть, вопросов, которые не удастся сформулировать, потому что для них нет отправной точки, и которые в любом случае некому было бы задать. Тем не менее мне без этой книги не обойтись.

В эссе Рансьера про фигуры истории есть важное рассуждение. Там вообще много сюжетов, так сказать, первой необходимости. Например, что задача искусства – показывать невидимые вещи, и это мне очень нравится – еще и потому, что в этом же видел задачу поэзии (выводить предметы на свет увиденности) Григорий Дашевский. Но главное для меня здесь, кажется, вот что. Думая об истории, Рансьер неожиданно противопоставляет документ – монументу; здесь надо договориться о терминах. Документом он называет любой отчет о совершившемся, имеющий в виду быть исчерпывающим, рассказать историю – «сделать память официальной». Его противоположность, монумент, «в первоначальном смысле термина – то, что сохраняет память самим своим существованием, то, что говорит напрямую, самим фактом того, что разговаривать ему не положено... свидетельствует о человеческих делах лучше, чем любая хроника их усилий; обиходные вещи, клочок ткани, посуда, надгробие, рисунок на сундуке, контракт, заключенный между двумя людьми, о

которых мы ничего не знаем...»

И в этом смысле, похоже, монумент-памятник, о котором я думала, был построен давно, в нем, как в египетской пирамиде, я и жила все эти годы: между креслом и пианино, в пространстве, размеченном фотографиями и предметами не-моей, моей, ушедшей, длящейся жизни. Коробки домашнего архива, где почти нет прямой речи, годящейся в свидетельства, – все больше поздравительные открытки, профсоюзные книжки, эпителиальные клетки прожитого и непроизнесенного, – рассказчики не хуже тех, кто может говорить за себя. Хватило бы и перечня, простого перечисления предметов.

Можно было бы понадеяться сложить из всех этих вещей мертвого Осириса, коллективное тело семьи, которой больше нет дома. Все эти отрывки воспоминаний и обломки старого мира безусловно составляют какое-то целое, наделены специального рода единством. Целое это, ущербное и неполное, состоящее все больше из зияний и отсутствий, будет не хуже и не лучше, чем любой человек, проживший свое и выживший, – вернее, его неподвижный финальный corpus.

Тело-калека, лишенное возможности связать свое припомненное в последовательный рассказ, – хочет ли оно быть увиденным? И даже если предположить, что оно ничего уже не хочет, допустимо ли делать его предметом своего рассказа, выставочным объектом, розовым чулком императрицы Сисси или ржавой заточкой со следами крови, которой для нее все закончилось? Выводя свою семью на свет общего обозрения, пускай со всею возможной любовью, лучшими словами в лучшем порядке, я все равно делаю Хамово дело: обнажаю беззащитную наготу рода, его темные подмышки и белый живот.

Скорее всего, я не узнаю о них ничего нового, и это делает письмо еще невозможней. Здесь нет ни интриги, ни расследования; ни ада Петера Эстерхази, узнавшего, что его любимый отец был осведомителем тайной полиции, ни рая тех, кто отродясь все про своих близких знает, помнит и с честью несет в голове. У меня так не вышло, и книжка о семье получается вовсе не о семье, о чем-то другом. Видимо, об устройстве памяти и о том, чего она от меня хочет.

* * *

Поздней весной 2011 года знакомый пригласил меня приехать в Саратов. Имелось в виду что-то вроде лекции с рассказом о сайте, где я работала; обсуждая это дело, мы сидели в московском кафе, которое, как мне рассказали, специализировалось на виски, редких его сортах. Пили чай; знакомый делал любимому Саратову деятельное добро – отправлял туда разных столичных людей с беседами об интересном.

Разговор быстро перешел с лекции на сам Саратов, родину моего прадеда, где я никогда не была. Время от времени в доме появлялись тамошние родственники, которых я страстно ждала с тех пор, как услышала от кого-то из них сказку на ночь, страннейший, как подумаешь, пересказ гоголевского «Вия» – но со счастливым концом, похожим на финал цветаевского «Молодца»: панночка с Хомой шли рука об руку по каким-то воздушным этажам, с неба на небо, с яруса на ярус, по красным сыплющимся розам. Еще до «Вия» была игрушка, красная улыбающаяся собака по имени Пиф Саратовский. И было много другого всякого, но с годами воспоминания свелись к этим двум.

У знакомого был с собой планшет с неожиданным содержимым, там были десятки отсканированных где-то дореволюционных открыток с фотографиями города: преобладали зеленый и белый, деревья и церкви, по мере пролистывания очертания расплывались, помню только большую речную воду, уставленную кораблями. Еще, сказал он, я закачал сюда справочник «Весь Саратов» за 1908 год, вот поглядите. Шли серые перечни имен и улиц; я, сказал знакомый, попробовал найти родных, но это дело безнадежное, тут таких Гридасовых десять страниц.

Моего прадеда звали Михаил Давидович Фридман, и это давало нам некоторые шансы. Он немедленно нашелся в справочнике, он был один такой, жил себе в столетней давности Саратове на Московской (видимо, важной какой-то) улице. Я спросила, осталась ли улица. Улица была на месте. Я отправилась в Саратов.

Огромная речная вода пустовала, как тарелка, и улицы сбегали к ней жгутами. На месте белого и зеленого были все больше торговые центры и японские ресторанчики, словно других еще не выдумали. Степь была совсем близко; перед открытыми дверями ателье и магазинов готового платья стояли женские манекены в пыльном и пышном свадебном. Широкие подолы с рюшами колыхались, желтые от ветра и песка. Мы поднимались в дощатую, как каюта, мастерскую художника Павла Кузнецова, ели шашлык в длинном, как

дебаркадер, приволжском ресторане, разув глаза на очень далекий тот берег. На Московскую улицу, переспросив адрес, я пошла рано утром.

Дом было не узнать, хоть я и не видела его никогда. Его широкое серое лицо было размордовано слоем цемента, прорезано витринами, и там продавали обувь. Но можно было войти в низкую подворотню и дальше, во двор.

Во дворе я долго возила руками по сырому саратовскому кирпичу. Там все было как надо и даже больше того. Никогда не виданный, никем мне не описанный двор моего прадеда безошибочно узнавался как тот самый, различий не было никаких: и низкий палисадничек с кустом золотых шаров, и кривые стены, их дерево и кирпич, и какой-то, кажется, стул со сбитой перепонкой, стоявший у забора без особой причины, были свои, сразу стали мне родственники. Тут, говорили они, тебе сюда. Довольно сильно несло кошками, но зелень пахла сильнее, а взять на память было решительно нечего. Да и не надо было никаких сувениров – до такой степени я вспомнила под этими окнами всё, с таким чувством высокой, природной точности я догадывалась о том, как тут у нас было устроено, как жили здесь и зачем уезжали. Двор меня, попросту говоря, обнял. И, потоптавшись еще минут десять, я ушла, основательно постаравшись его усвоить: вынуть картинку, как вынимают зеркало из рамы, и вставить ее в пазы рабочей памяти накрепко, чтобы никуда не делась и сидела прочно. Так оно и вышло; а из окна поезда было видно длинные блестящие канавки вроде арыков, бегущие вдоль дороги, и один раз – маленький пыльный смерч, крутившийся на пустом переезде.

Что-нибудь неделю спустя мне позвонил саратовский знакомый и, смущаясь, сказал, что перепутал адрес. Улица была та, номер дома другой, простите, Маша, мне страшно неловко.

И это примерно все, что я знаю о памяти.

Глава третья, некоторое количество фотографий

Большой больничной зал с шахматным полом. Солнце бьет в высокие арочные окна, и правый край засвечен до белизны. Но белого и так полно, кровати стоят изножьями вперед, кованые спинки завешены полотном. Видно высокие подушки, видно головы больных – усатые люди смотрят сюда, в точку съемки, один приподнялся на локтях, и медсестра быстро поправляет что-то у его плеча. Она единственный женский человек в огромной палате. В левом углу происходит событие снимка: тут стол, и еще один усач в больничном сидит, опираясь на костыли, улыбается зубастой южной улыбкой. На столе бумаги, журналы с записями, обходные листы – там сидят двое главных, те, к кому стянута композиция, ради кого пришли и фотографируют, кто излучает небрежное довольство визитера. Этот в черном городском, сияют ботинки и воротничок, откинулся на спинку венского стула. Второй в сером, и тоже сполох крахмала под призрачными усами. Дальше стоят санитары, выжидательно сложили руки – кто на груди, кто на животе; ножки кроватей и ребра колонн параллельны, кто-то еще выглядывает из-за одной, словно присутствовать обязаны все, и дежурная пальма вымахивает из угла. Окна как лужи света, интересней всего там, где размыто, где белизна растворила раму и уже подгрызает фигуру медсестры и того, кем она занята.

2

Если не знать, никогда не догадаешься, что это труп – просто ворох ветоши на низком мраморном столе, за которым сидят внимательные студенты и идет практический урок анатомии. Ближе еще один столик, и на нем тоже что-то невнятное, то ли мешок или сверток, то ли нет, толком не разглядеть.

Шесть женщин теснятся вокруг стола, белые халаты поверх темного повседневного платья, единственный мужчина на отшибе – отвернулся и решает, улыбнуться ему или сморщиться, пока остальные заняты делом. На носу у него комическое пенсне, за спиной – школьная доска в меловом налете, а там, если начать разглядывать, чего только нет: вегетососудистая схема, оставшаяся от лекции, профиль военного в высокой фуражке, профиль красавицы с сигаретой и решительным подбородком и, во весь лунный анфас, улыбающийся круг лица и пририсованные к нему здоровенные уши. Но это сбоку, а за столом – женская версия анатомии доктора Тюльпа, черноволосяя студентка со

стетоскопом на шее читает по книге, а слушательницы замерли. Лица у них, как у застоявшихся часовых, лишь одно чуть размыла улыбка; и если казалось, что они заняты общим делом, то это не так. Вот эта вытянулась и смотрит в себя, другая встrepенулась, словно позвали из дальнего угла, та, что в очках, не успела надеть халат, и тяжелый лиф в вышивке и пуговичках пытается выглядеть как врачебная униформа. Та, что с книгой и низким узлом волос, – моя прабабка Сарра. Все взгляды, как прутья веника, направлены в разные стороны, и никто не хочет смотреть на ткани и сочленения мертвеца.

3

Все французские доктора усаты, все усы торчком, словно крылья, все женщины в белом, рукава засучены, под потолком электрическая лампочка. Медсестер можно отличить от студенток по широким мельницам чепцов. Крутится веретено совместного движения – засматривают из-за спин, косятся через плечо туда, где под простыней что-то вроде холма и седобородый главврач держит в руках ланцет или зажим. Там мертвая зона, статический центр композиции и операции, тихо так, что слышно тиканье в собственной голове, и женщины, стоящие совсем близко к рукам и тому, что под ними, отвернулись, словно зажмурились, и глядят в объектив.

4

Картинка деревянного цвета и сама словно замощена деревом, все дощатое, стена дома, забор, сарайчик, какое-то крылечко лепится сбоку, кот близко, но куры еще сохраняют достоинство, девочка в новом гимназическом платье – видно, как лихо прострочены широкие рукава, – дает понять, что смирилась и готова фотографироваться, хотя и не очень понимает, зачем все это нужно. На улицу вынесли венский стул, усадили, поставили камеру, и девочка улыбается, гордится и иронизирует.

5

Подписи нет, но это Швейцария и начало десятых годов. Еловый лес уходит клиньями влево и вправо, и в проеме стоят конусовидные белые горы. Несколько елок повыше видны на просвет, раз, два, четыре, пять разноростых переходных деревьев – а дальше сплошной частокол подлеска. Сверху неопределенные альпийские облака, из-под обреза фотографии, как челка, свисает непрошенная листва, из-за которой тогдашние мы, русские путешественники, только что вышли.

6

Фотография маленькая и старая и кажется еще старше оттого, что выцвела. По нижнему краю написано розовым «CHERSON» и «B. WINEERT».

Судя по всему, это середина 1870-х. Невеста стоит прочно, как стакан на скатерти, свадебное платье из толстой ткани расходится треугольником – мыс спускается на живот, пуговицы выстраиваются в линию, широкое лицо окаймлено кружевами. Рядом с ее спокойной основательностью, прислонившись к ней, как к калитке, жених кажется неправдоподобным, и не в прямой и грубой логике неравного брака и одесских рассказов, а так, словно мы наблюдали бы союз треугольника и водяного знака. Тонколицый и тонкокостный, похожий на свечку или последний кусочек мыла, он вытянут в высоту – и, кажется, растает прямо внутри парадного сюртука с его нарисованными лацканами, так что невеста придерживает его за локоть. Сюртук держится слишком прямо, непривычный цилиндр – точно кролик в руке у фокусника. Эфемерная красота моего прапрадеда кажется такой неустойчивой, что сложно представить себе его двадцать-тридцать лет спустя, отцом детей и хозяином чего бы то ни было. В детстве я думала, что кустистая-бородатая фотография другого прапрадеда – это тот же человек в старости, и ужасалась этой перемене. Но фотографий Леонтия Либермана всего две – и на обеих похоже, что он сольется с фоном, не успев отрастить усов.

7

Дети играют в крокет на лужайке подмосковной дачи. Взрослые сидят на лавочке, стоят, прислонившись к стволу высоченной сосны. Старый бревенчатый дом со своими мансардами и маковками уходит за границу изображения. Окна настезь. Игра прервана, все, кто есть, развернулись лицом к фотографу: девочки в гольфах и белых платьях, больше похожих на рубашонки, босоногие мальчишки с чужой дачи, крокетные молотки замерли, шары лежат на земле. Только одна, та, что справа, глубоко занята игрой, согнулась над землей, голые плечи свернуты в кривую дугу усилия, правая нога отставлена, склоненный профиль и вынесенная вперед стопа – на одной невидимой линии, короткая, под горшок, стрижка дает увидеть нежный длинный затылок. Девочка, похожая на греческого мальчика, излучает сумрачную сосредоточенность, эмблематическую замкнутость барельефа. Все прочие составляют группы и пары; она одна – на первом плане, неподалеку от остальных, но это место кажется краем фотографии, дальним флигелем большого дома.

8

Длинная, в пол, черная юбка, светлая блузка: неизвестная женщина стоит на фоне ограды, кирпичный дом оплетен плющом, крашенные ставни отворены. Дети, лет двух и пяти, маячат у нее за плечами, как крылья. Она держит их за руки, руки перекрещиваются на груди. Двое мужчин по бокам, чуть ближе к нам. Тот, кто выше, заложил ногу за ногу, засунул руки в карманы – рубаха навывпуск перехвачена пояском, кудри взъерошены. Это Сашка, или Санчо-Панчо, друг и поклонник прабабушки Сарры. Второй постарше, он в пенсне и блузе из грубой ткани, вид у него понурый, и вдруг я понимаю, что знаю его в лицо. Это же Яков Свердлов – лет через десять он станет председателем ВЦИКа и подпишет постановления о красном терроре и «превращении советской республики в единый военный лагерь».

9

Мутно-желтый прямоугольник чуть яснее к левому углу, если приглядеться, угадывается стол, плечо, женский профиль. На обороте написано: «Пусть вас не смущает, что картинка так темная, нужно хорошо присмотреться, а тогда она

совсем не плоха». Чуть ниже, в углу, той же рукой – «Paris».

10

Первое, что просится на глаза, – слова транспаранта на фоне сплошного березняка:

Для оздоровления

рабочей натуры

средство хорошее —

физкультура!

Фотография так плотно замощена женскими телами, что взгляд невольно держится верха, где только стволы и белые буквы. Происходящее напоминает схему сложного химического соединения. Верхние ряды стоят, следующие приседают всё ниже или уже лежат, развалиясь, как русалки в море голых рук, физкультурных трусов и одинаковых маек. Всего здесь человек девяносто, но лица на удивление похожи или просто стянуты общей стертостью, отказом от выражения. Именно поэтому их интересно рассматривать по одному, и начинает казаться, что, переходя от лица к лицу, видишь фазы одного мимического движения. Это, видимо, дом отдыха «Райки», где работала врачом прабабушка Сарра, год что-нибудь 26-й, ее десятилетняя дочь Лёля в нижнем ряду: голову стягивает косынка, на плечах нелепая шаль с бахромой. Чтобы не перепутать и найти свою, как в старой сказке, она помечена синим чернильным крестиком. Но ее можно было бы опознать и по отстраненности, с которой она смотрит куда-то вбок.

11

Тяжелый картон, золотой обрез, туманный рисованный пейзаж, на фоне которого особенно мощной кажется толстолапая чугунная скамья с затейливыми

подлокотниками. Тот, кто на ней сидит, – Давид Фридман, отец моего прадедушки, нижегородский врач. Правая рука придерживает за ошейник собаку, это рыжий (красный) ирландский сеттер, достойная охотничья порода, стандарт которой утвердили двадцать лет назад, в 1886-м. На прапрадеде одежда, которую почти не удастся заметить, настолько она этому сопротивляется: добротное пальто с мерлушковым воротником, такая же черная каракулевая шапка, какие-то брюки, какие-то – никакие – ботинки, пенсне на длинной цепочке, фокусирующее внимание на глазах. Глаза, кажется, тревожные; но, может быть, дело не в них, а в том, как тесно, одна к другой, составлены ноги, словно человек готовится уходить и вот-вот встанет с места. В нашей семье, как во многих, никуда не удастся уехать без обязательного «посидеть перед дорогой», без полутора минут молчания, за которые отъезд успеваешь набрать свой окончательный вес. Собака нервничает и елозит на месте, они оба умрут в 1907-м, в один день, как говорила мама.

12

Та фотография, где ничего не происходит, кроме лица, но его ох как достаточно. Безразмерная фетовская борода раздваивается на груди, над пуговицами, крылья носа расходятся широко, над ними сдвинуты брови, голова крыта седым пухом, но все равно кажется голой. Фона нет, позади пустота. Это Абрам Осипович Гинзбург, второй мой прапрадед, отец четырнадцати детей, купец первой гильдии, начинавший дело в городе Починки и не учтенный тамошними архивами, и он весь как Б-жия гроза (другого написания он бы не потерпел). Первое, что обычно видишь на старых снимках, – глаза: потерянный, потому что утративший опору (того, кто мог тебя узнать) прямой взгляд.

Здесь взгляд направлен куда-то влево, и он не ищет, а держит человека или вещь, оставшуюся за краем изображения, – так что против воли пытаешься поместить себя в точку, куда так смотрят и откуда давно уже ничего не видно. Поле зрения, где внимание вольно расхаживало туда-сюда, вдруг оказывается тесным треугольником, и все, что в нем происходит, регулируется только цепкой тяжестью чужого взгляда.

Красивая женщина в белом и похожий на нее мальчик в белой матроске. Она сидит, он стоит у ручки кресла. Этот белый – цвет классовой характеристики, знак безбедности, крахмального хруста и неограниченного досуга. Мальчику лет шесть, его отец умрет через два года, еще через три мальчика и мать, как Гвидона с царицей, невесть как прибудет к московскому берегу. У меня на полке стоит старая пишущая машинка, тяжелый «Мерседес» со съемной челюстью дополнительной клавиатуры: в первое время прабабушка Бетя зарабатывала на жизнь чем попало, по большей части перепечаткой.

Большая, двадцать на тридцать сантиметров, копия старой фотографии. На обороте написано: «1905 год. Слева направо: 1. Гинзбург 2. Баранов 3. Гальпер 4. Свердлова. Подлинник хранится в Горьковском музее-заповеднике за номером 11 281. Научный сотрудник Гладина (?)». Над номером стоит круглая синяя печать.

Идет зима, под ногами натоптанный снег, темные мохнатые шубы и шапки закапаны скушным белым – это грязь, какая бывает на старых фотографиях, ее точки и полосы, заметающие картинку. Прабабушка Сарра, та, что номер один, кажется старше своих семнадцати лет. Шапка-шляпка, из тех, что прикалывались булавками к волосам, съехала на затылок, прядь волос выбилась и висит, круглощекое лицо обветрено, видно, как ей холодно: одна рука заложена глубоко за обшлаг пальто, вторая сжата в кулак. Правый глаз, подбитый на баррикаде, перетянут черной повязкой, как у пиратов Карибского моря. Это Нижний Новгород, восстание в Сормове и Канавине, начавшееся 12 декабря 1905 года и подавленное артиллерией через три дня уличных перестрелок.

Эта фотография в домашней памяти так и называлась: «Бабушка на баррикадах», хотя самой баррикады не видно – за спинами белая кирпичная стена, сбоку, в снежном месиве, что-то вроде заборчика. Как начнешь присматриваться, видно, какие молодые все, кто здесь стоит, – и красавец-усач в

серой кубанке, и неизвестный мне ушастый Гальпер, и подруга с детским скуластым лицом. Через шестьдесят лет в памяти архива останутся только женщины: Сарра Гинзбург и Сарра Свердлова, «маленькая Сарра», сестра своего брата, на лавочке у Дома старых большевиков – две седые дамы в толстых пальто греются на зимнем солнце, прижав к животам старообразные муфты.

15

На даче утро: кто-то сидит в плетеном кресле, видны только ноги и край полосатого платья. Терраса, стол под клеенкой, половодье фарфора: чашки, сухарницы, рябая масленка, высокая ваза с цветами и листьями, дальше – кастрюля с невидимым содержимым. Девушка в летнем платье разборчиво и аккуратно завтракает: локотки за краем скатерти, нож в правой, вилка в левой, ножки в модных туфлях (ремешок охватывает щиколотку, носок закруглен) опираются на перекладину. Вторая, та, что напротив, сгорбилась над чайным стаканом и размешивает сахар; загорелые колени торчат из-под цветного подола, голые руки отражают свет, волосы забраны сеткой. Издалека зорко следит за тем, хорошо ли Лёля ест, старуха в переднике и глухом белом платке – няня Михайловна, прибившаяся к семье и оставшаяся в ней навсегда. Год, думаю, 1930-й; на лавке стопка газет, сверху лежит новый «Огонек», на обложке смутная женская фигура – что делает, не видать.

16

Фотография цвета щебенки; кажется, что и на ощупь должна быть шершавой. Все серое, лицо, платье, грубые шерстяные чулки, кирпичная стена, деревянная дверь, колючая поросль палисадника. Немолодая женщина сидит на венском стуле, полусложив руки на груди – словно начала движение и забыла, что собиралась делать, одна рука так и осталась прикрывать живот. Улыбка тоже не успела развернуться во все лицо, оно просто спокойное – как будто стрелки застыли и воцарился полдень, тихий час бесстрастного одобрения. Знаменатель этой картинки, видимо, крайняя бедность, на языке которой говорит все, явленное здесь: тяжелые руки без колец и холст единственного платья – родные братья растительной пехоты под ногами, ее однокоренные имена. Нет никакой

попытки принарядиться для вечности, позволить своей повседневности взять заслуженный выходной; все так, как есть, потому что не из чего выбирать. Это моя прабабушка Софья Аксельрод, читательница Шолом-Алейхема, где-то под Ржевом. Год может быть любым – 1916-й, 1926-й, 1936-й – вряд ли со временем что-то менялось.

17

Пятилетняя девочка держит на руках огромную чужую куклу. Кукла роскошна; у нее толстая коса, румяные щеки, народный костюм – вышитый подол, высокий кокошник. Она вызывает священный трепет, на нее невозможно глядеть, и вместо этого горячие глаза восторга направлены в объектив: вот она! вот мы! Толстый и тонкий (девочка худа, кукла непомерна и надменна), черный и белый (девочка черноволоса, кудри стоят торчком, у куклы – коса до пояса, волосок к волоску), любящий и любимый. Детские руки несут свою добычу с молитвенной бережностью: одна ладонь осторожно и крепко фиксирует талию, вторая еле касается фарфоровых пальцев. Изображение черно-белое, и я не знаю, какого цвета платье с вышитой вишенкой и разлапый бант на маминой макушке.

18

Карточка маленькая, погоны размыты – но я знаю, что дед дослужился до майора и демобилизовался только после войны. Здесь явное до: лицо сжато, как кулак, и не выражает ничего, кроме силы – дуги бровей, плотно прижатые уши, яркие белки, рот, все это лепится в один бильярдный шар, в типовой портрет офицера конца тридцатых. Такое, коллективное, одно на всех лицо было у героев германовского «Лапшина». Я видела этот фильм впервые в свои дремучие пятнадцать лет, с нулевым объемом просмотренного, и долго не могла тогда разобрать, что именно происходит, кто главный и кто влюблен: герои казались мне неотличимыми друг от друга, сделанными из общего военного сукна. И что-то еще было в них очень знакомое – речь и осанка смутно узнавались как родственные, давно известные, и только годы спустя я поняла, что каждый из них был в некотором смысле дедушка Коля, его шипр, его вежество и суровость, его бритые щеки и голая голова.

Где-то на речке в середине или конце тридцатых две молодые женщины позируют фотографу, не переставая смеяться. Одна уже распустила волосы, наклонилась, вот-вот положит в траву белую вязаную шаль, вторая придерживает шляпку от невидимого ветра. У них легкие короткие платья, сумки уже на земле, сброшенное белье комком лежит в ногах.

Идет дождь, и люди бродят, как потерянные, по мокрому лугу. Их много, человек двадцать – мужчины в канотье, женщины в длинных юбках, подола метут сырую траву, над головами ненадежные купола парасолек. Далеко на горизонте – стена, ограждающая неизвестно что, правее отсвечивает серая вода. Они стоят ближе и дальше, по двое, по трое, поодиночке, и чем больше всматриваешься, тем явственней понимаешь, что так может выглядеть ландшафт посмертия, его начальный берег, где каждый сам по себе.

На обороте фотографии красивым почерком с росчерками и завитушками написано по-французски, и я перевожу на ходу: «Монпелье, 22/VII. 1909. В память о нашей зоологической экскурсии на Палава. Было грустно... погода испортилась. Д. Х<аджи>-Генчев». Адрес – «мадемуазель С. Гинзбург, Починки». Палава-ле-Фло – курортный поселок к югу от Монпелье, длинные дюны идут полосой между Средиземным морем и пресными озерцами. Плоские берега покрыты серым песком; где-то здесь водятся розовые фламинго, что, видимо, объясняет зоологический оттенок той давней поездки. Сейчас это людное и недорогое пляжное место, а сто лет назад было пусто, церковь Святого Петра стояла новенькая, гостиницы еще не построили.

Среди тех, кто гулял там под низким небом, есть женщина, которая держится очень прямо. Она стоит одна, отвернувшись от объектива, ее узкая спина в светлом летнем жакете – осевая линия фотографии, центральный столб ее остановленной карусели. Голова в жесткой шляпке закинута, в руках лохматый

букет. Лица не видно, но мне нравится думать, что это моя прабабушка Сарра.

Глава четвертая, секс мертвых людей

Мне было лет двенадцать, и я обшаривала квартиру в поисках интересного. Его было много: с каждой новой смертью в нашей квартире прибывало вещей, оставленных как их застало, в том случайном-окончательном виде, который мог бы изменить только сам хозяин, уже выбывший из живых. Содержимое бабушкиной последней сумки, состав ее книжных полок, пуговицы в коробке были остановлены, как часы, на определенном дне и минуте. Такого в доме было много, и вот однажды я нашла еще одну штуку – старый кожаный бумажник где-то в дальних ящиках, а в нем фотография и ничего больше.

Было сразу понятно, что это именно фотография, а не «картинка», не открытка, не, например, цветной календарик. На фотографии была голая женщина, она лежала на диване и смотрела в объектив. Фотография была любительская, давняя, успевшая поджелтеть, но тип чувства, которое она вызывала, никак не соотносился с тем, например, что подразумевали прабабушкины парижские письма или дедушкины шуточные стихи. Она не добавляла ничего ни к стягивающему горло чувству семейной общности, к черно-белым многолицым полухориям незнакомой родни, всегда стоявшим у меня за спиной, ни к голоду, который вызывало незнакомое-чужое, ночная Ницца на дореволюционных открытках. На фотографии было явно-запретное (что мало смутило бы меня, потихоньку от родителей вышедшую на поиск этого запретного), смутно-неприличное (хотя фронтальная нагота этой женщины была откровенной и бесхитростной), и, самое странное, оно не имело ко мне совсем никакого отношения. Это было чужое, чье-то. То, что бумажник давно остался без хозяина, дела не меняло.

Женщина, лежавшая на кожаном диване, была некрасивая. По моим тогдашним меркам, сформированным Пушкинским музеем и картинками в мифологии Куна, в ее устройстве было много оскорбительных неточностей. Ноги у нее были короче, чем надо, груди меньше, зад больше, живот был какой-то не по-мраморному пухлый, и все это делало ее еще живей, как бывает живым все знать не знающее о существовании образцов. Она была «взрослая» – лет, как я сейчас понимаю, тридцати с небольшим – и не обнаженная, а именно что очень

голая, хотя это все было не главное. Смотрела женщина прямо на смотрящего, то есть в объектив, то есть на меня – с интенсивностью, которая не давала никакой возможности считать этот взгляд рассеянным взглядом богини или модели в мастерской художника.

У взгляда был прямой и утилитарный смысл, между женщиной и ее свидетелем что-то происходило или должно было произойти. Строго говоря, взгляд уже был происходящим: его каналом или коридором, его черной дырой. Лицо, плосковатое, широкощекое, с глазками-дырочками, этим взглядом полностью исчерпывалось. Сообщение было не на предъявителя, но на месте смотрящего почему-то оказалась я, и это делало ситуацию печальной и нелепой. Было совершенно ясно, что (в отличие от всего искусства и всей истории, так внятно обращенных ко мне, принимавших меня в расчет) Фотография На Кожаном Диване совершенно меня в виду не имела, и видеть не хотела, и знала со всей отчетливостью, что на моем месте был и должен оставаться кто-то другой, с именем, фамилией и, возможно, усами.

Отсутствие этого другого и делало происходящее таким непристойным. Это был в прямом смысле *coitus interruptus*, а я была вроде как инструментом вмешательства, оказалась не в том месте и не в то время, застала недолжное: секс. Секс был не в теле, не в позе, не в обстановке, которую я, однако, хорошо запомнила, а только во взгляде, в его прямизне и недвусмысленности, игнорирующей все, не имеющее отношения к делу. Странно, как подумаешь, что и тридцать лет назад – а сейчас, когда я пишу это, и со стопроцентной вероятностью – оба участника этой расстановки были уже мертвы. А упало, Б пропало; они умерли, и только бесхозный секс остался в пустой комнате.

* * *

Если бы мне надо было объяснить, что я имею против изображений, я сказала бы, что у них общая болезнь, эйфорическая амнезия – они не помнят, что они значат, откуда взялись, кто их родня, но прекрасно себя при этом чувствуют. Для смотрящего (воспринимающей инстанции, которую уже и не поймешь, как назвать, читателем или зрителем) картинка вроде как делает больше, обслуживает лучше. Она быстрее доносит свое сообщение, не тратит лишних слов, а главное – не устает вступать с ним в активное взаимодействие: поражать, цеплять, занимать. Картинка соблазняет иллюзией экономии: там, где текст только разворачивает первые фразы, фотография уже пришла, ужаснула,

убедила и великодушно уступила место тексту, который, так и быть, расскажет неглавное – что случилось и где случилось.

Сто лет как говорят, что примета или проблема нашего нового времени – перепроизводство визуального материала, замена тяжелых, груженных смыслом телег описания на легкие саночки изображения. Оно, конечно, так и есть, и дело даже не в бремени, что лишь поначалу кажется невесомым. Дело еще и в том, что в зеркальном коридоре воспроизведения пропадают не только мертвые, но и живые. В эссе Кракауэра о фотографии этот процесс описан с фотографической же наглядностью, и можно разложить по фазам то, что делает наше внимание с фотографией бабушки – как она исчезает буквально на глазах, пропадает в складках собственной одежды, оставляя на поверхности изображения воротничок, турнюр, шиньон.

Но то же самое происходит с каждым из нас по мере того, как каждое новое селфи, групповой снимок, фото на паспорт выстраивают нашу жизнь в цепочку – в историю, не имеющую ничего общего с той, что мы рассказываем себе и хотели бы передать близким, в линейное было-стало, в полное собрание не нами выбранных моментов и поз, открытых для следующей фразы ртов и смазанных подбородков. Бальзак предвидел что-то такое и отказывался фотографироваться, считая, что каждый новый снимок отслаивает или состругивает с него еще один слой бальзака и что, если позволить такое с собой делать, ничего не останется. (Или останется: дымок, кочерыжка, последний остаточный слой толщиной с посмертную маску.)

Но механика фотографии и не имеет в виду сохранность сущего. Логика ее работы скорее похожа на то, как собирают посылки для потомков или инопланетян: свидетельства о человечестве, антологию лучшего, попытку самоописания через выставку достижений цивилизации: шекспир-монализа-сигара, пенициллин-айфон-калашников. Все это напоминает египетские захоронения, устроенные как просторные чемоданы, набитые всем необходимым. Но если предположить в потомках/инопланетянах любознательность, не боящуюся времени, их потребность в информации могла бы удовлетворить только безграничная библиотека изображений, в которую, как в чулан, сложено все: каждая минута каждого из нас. Если бы это пугающее досье собрать и оставить до востребования, оно мало бы отличалось от того, далеко еще не полного, что хранится и накапливается сегодня где-то в воздухе, в его бесформенных карманах, и вызывается к жизни одним движением компьютерной мыши.

Фотография замечает в первую очередь перемены, которые всегда одни и те же, – рост, переходящий в угасание и небытие. Я видела несколько таких фотопроектов, разворачивавшихся и осуществлявшихся десятилетиями. Они гуляют по соцсетям, вызывая умиление, тоску и что-то вроде непристойного любопытства, с каким молодые и здоровые люди разглядывают то, что еще не стало для них даже будущим. Вот молодой японец фотографируется с маленьким сыном; время идет, мальчику год, четыре, двенадцать, двадцать, это род ускоренной перемотки – мы видим, как один наполняется жизнью, как воздухом воздушный шарик, и как сдувается, и съезживается, и темнеет второй. Вот австралийские, что ли, сестры-погодки, они тоже снимаются вместе уже сорок лет, год за годом – и с каждым новым изображением все очевидней старение, разочарование, сигнальные звоночки небытия. В этом смысле искусство занято чем-то глубоко противоположным: любой удавшийся корпус текстов – это хроника роста, вещь, не вполне соотносящаяся с параллельной хронологией первых морщин и пигментных пятен. Но фотография более бескомпромиссна; она уверена, что совсем скоро ничего этого не будет, и, как умеет, сохраняет всё.

Я говорю здесь о фотографии особого рода, он же, по неслучайному совпадению, самый массовый, обводящий широким меловым кругом всех профессиональных репортеров, любителей с их снимками, сделанными на телефон, и целый набор промежуточных вариантов. Общая их черта сводится к тому, что фотограф и зритель безоглядно уверены в том, что результат съемки обладает качеством документа: он свидетельствует о действительности, схваченной как она есть, без всяких там словесных прикрас: роза так роза, амбар так амбар. Художественная фотография с ее попытками изогнуть и перестроить видимый мир во славу частного восприятия интересует меня только в точках, не предусмотренных автором, – там, где реальность мешает замыслу и льстит зрителю, заметившему шов

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.me/ru/stepanova_mariya/pamyati-pamyati-romans

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)